

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Попросту



Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Попросту

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22138209

Аннотация

«– Кликните мне, пожалуйста, извозчика, – вежливо проговорил молодой человек, только что «приехавший доктор» в глухой провинциальный городок Пропадинск. – Извозчика? – удивилась старуха-кухарка, отвечавшая за горничную. – Разве по Фомку сбегать, он у собора стоит, а других никого нет. – Все равно: Фомка или кто другой... Я тороплюсь, нужно визиты сделать...»

Содержание

I	4
II	11
III	19
IV	27
V	34
VI	41
VII	49
VIII	53

Дмитрий Мамин-Сибиряк

Попросту

I

– Кликните мне, пожалуйста, извозчика, – вежливо проговорил молодой человек, только что «приехавший доктор» в глухой провинциальный городок Пропадинск.

– Извозчика? – удивилась старуха-кухарка, отвечавшая за горничную. – Разве по Фомку сбегать, он у собора стоит, а других никого нет.

– Все равно: Фомка или кто другой... Я тороплюсь, нужно визиты сделать.

Павел Иваныч Кочетов, молодой врач, только что сорвавшийся с университетской скамьи, вчера приехал на место своей службы и, так как в Пропадинске «проезжающих номеров» не оказалось, остановился на первой попавшейся частной квартире у какого-то прасола. Этот прасол, пожилой человек с окладистой бородой, вышел к нему босиком и в одной ситцевой рубашке, внимательно осмотрел гостя с ног до головы и решил про себя: «Молод еще, а поперится – человеком будет».

«Вот патриархальные нравы!» – думал, в свою очередь, Кочетов, любуясь босыми ногами хозяина и его ситцевой ру-

бахой, перехваченной гарусным пояском.

Утром он проснулся рано, потому что не давали спать самые патриархальные клопы, и теперь с нетерпением повернулся несколько раз перед зеркалом. Среднего роста, плотный, с широким русским лицом и небольшой бородкой, он был тем, чем и должен быть провинциальный врач: ничего эдакого не было ни в костюме, ни в манерах, ни в лице. Просто приехал человек на место и будет тянуть свою лямку, как тянут все другие люди.

– А Фомки-то нет у собора, – заявила вернувшаяся кухарка. – Надо полагать, его к Бубновым перешибли...

– Ну, а другие?

– Других-то, видно, не бывало, барин.

– Как же я, по-твоему, буду делать; на улице грязь по колено, я по грязи и отправлюсь с визитами, подогнув штаны?

Кухарка только развела руками:

– Нету Фомки...

– Эй, Авдотья, а ты к Луковкиным сбегай, – слышался из-за перегородки голос хозяина. – Может, они дадут лошадь... У них два экипажа, так иногда ссужают на случай бракосочетания или на похороны. Так и скажи: господин дохтур приехали, так им весьма требуется...

– Но ведь это неловко: незнакомые люди... – бормотал Кочетов, начиная в виду затянувшихся переговоров снимать свежие перчатки.

– Ничего, Павел Иваныч, – утешал тот же голос из-за пе-

регородки с уверенной ноткой. – Как быть-то?.. Не вы одни, а для первого раза по колено залезть в грязь, оно, тово, не способно!.. А Луковкиным што, все равно задарма лошадь стоит. Да вы не сумлевайтесь, потому как у нас все попросту: сегодня вам Луковкины удружат, а завтра вы им.

– Все-таки, знаете, оно как-то неловко.

Через полчаса Авдотья приехала на лошади Луковкиных, причем вся улица уже знала, кому понадобилась лошадь и для чего. Город был маленький, всего тысяч пять жителей, а чем меньше русский город, тем сильнее обывательское любопытство. Усаживаясь в экипаж, доктор с улыбкой припомнил, что лошадь у Луковкиных берут на случай бракосочетания или на похороны, так что он являлся и женихом и покойником.

– К городскому голове... – лаконически приказал он кучеру, несколько взволнованный своим первым официальным визитом.

Выходило неловко только одно, что он с своим первым визитом явится на чужой лошади, точно у него нет денег на извозчика. Но эта беспокойная мысль сейчас же улетучилась под влиянием ужасных толчков, какими уснащен был путь. Пропадинские улицы осенью буквально утопали в грязи, и экипаж тащился из одной выбоины в другую, как черепаха. Ведь улиц совсем немного: главная улица, конечно, Соборная, потом неизбежная Московская, потом проспект – и только, а дальше начинались окраины со своими Теребилов-

ками, Дрекольными и Ерзовками. В центре, конечно, была Соборная площадь, на площади зеленый собор, дальше каменный гостиный двор, походивший, как все гостиные дворы, на плохие конюшни, еще дальше деревянная каланча, опять церковь, но уже ярко-желтая, здание «градской» думы, обывательские хоромы и грязь без конца, а в хорошую погоду пыль.

Проезжая мимо собора, кучер обернулся, внушительно ткнул кнутовищем на утоптанное местечко и проговорил:

– Вот на эфтом самом месте Фомка и стоит... Проезжающие господа весьма одобряют, ежели он, значит, Фомка, не урезал. К Бубновым его, сказывают, с утра взяли...

Дом градского головы Семена Гаврилыча Затыкина, конечно, стоял на Соборной улице и еще издали кидался в глаза своим бледно-розовым цветом. Все окна точно были залеплены разными ветхозаветными цветами вроде фуксий, гортензий, синелей и даже гераней. Недоставало только петухов и красного перца, каковые красуются на подслеповатых окнах в Ерзовке. Подъезд, впрочем, был очень приличен: разделанная под дуб массивная дверь, воздушный звонок, даже железный тент на тонких чугунных колонках. На звонок выскочила краснощекая горничная.

– Семен Гаврилыч дома?

– Они в думе...

Кочетов сунул горничной свою визитную карточку, постоял на подъезде и решился ехать прямо в думу, благо чужая

лошадь стояла тут же и первая неловкость была сделана.

До думы было рукой подать. Подчищенный двухэтажный каменный дом имел очень приличную внешность, а черная вывеска так и горела золотой надписью. Даже был золотой герб: в голубом поле серебряная лисица, пронизанная золотой стрелой. Нужно заметить, что в Пропадинском уезде, кроме мышей и зайцев, других зверей по штату не полагалось. В подъезде стоял настоящий швейцар и даже швейцар в ливрее. Конечно, это частность и пустяки, но Кочетов почувствовал себя как-то легче при виде такого осязательного знака пропадинской цивилизации.

– Пожалуйста в ремесленную управу – Семен Гаврилыч там чай кушают, – заявил швейцар, не дожидаясь вопроса. – В двенадцать часов они завсегда там...

Чай и ремесленная управа немного не вязались между собой, но что вы подделаете с провинцией?.. По приличной лестнице Кочетов вбежал во второй этаж, заглянул на вывески у дверей – ремесленная управа была сейчас направо, и в приотворенную дверь доносился гул споривших голосов. Из вежливости Кочетов постучал в дверь – ответа не последовало.

– Да вы, сударь, прямо отворяйте дверь, – посоветовала голова швейцара, наблюдавшая неизвестного человека с лестницы: – у нас ведь попросту...

Ничего не оставалось, как только войти «попросту». Большая комната, затянутая табачным дымом, с длинным сто-

лом посредине, походила на железнодорожный буфет: на столе кипели два самовара, стояла чайная посуда, корзинки с хлебом и бутылки с ромом, а кругом стола разместились представители местного самоуправления. Появление нового человека произвело некоторую сенсацию, и общий говор смолк.

– Могу я видеть господина городского голову? – осведомился Кочетов, обращаясь к толстому седому старику.

– К вашим услугам... – отозвался краснощекий мужчина средних лет и пошел навстречу гостю с протянутой рукой. – С кем имею честь говорить?

– Врач Кочетов...

– Ах, помилуйте, очень приятно... очень!..

– Я заезжал к вам, но, к сожалению, не застал дома и вот решил... Извините, я, может быть, мешаю вам?

– Вы?... Нет, вы в самую точку попали, и лучше ничего нельзя было придумать: в двенадцать часов мы всегда здесь, как рыба в ухе... Господа, позвольте представить: наш новый доктор...

Подхватив Кочетова под локоть, голова повел его вокруг стола и быстро рекомендовал присутствующих. Седой старик в очках оказался тем самым Луковкиным, на лошади которого приехал в думу Кочетов, потом следовал член управы Огибенин, затем председатель земской управы Голяшкин, судебный следователь Нагибин, два купца Ивановых, три купца Поповых, старший городской врач Кацман и т. д.

– То-то я смотрю в окошко: на моей лошади кто-то подъезжает к думе, – добродушно басил Луковкин. – Вот, думаю, оказия... Кому бы быть, думаю, а оно вон что вышло. Моя лошадь-то, и кучер мой, Анфим, а седок незнакомый. Хе-хе...

Кочетов начал объясняться, но голова хлопнул его по плечу, усадил насильно к столу и проговорил:

– Перестаньте, батенька: мы что, разве французы какие... У Захара-то Леонтьича лошадь одурела от стояния, а теперь все-таки ей проминаж. Вам же спасибо скажет... У нас, голубчик вы мой, все попросту.

– Все попросту! – ответило несколько голосов зараз.

– Одной семьей живем, миленький вы наш... – продолжал голова и любовно похлопал доктора по плечу. – Чего нам делить? А в двенадцать часов мы всегда здесь, в управе, чайком балуемся... Конечно, оно присутственное место, но дел никаких нет, а напиться в свое время чайку чем не ремесло?.. У нас попросту...

Этот Семен Гаврилыч оказался великим краснобаем и постоянно тыкал своим «попросту». В Пропадинске это слово, кажется, не сходит с языка: и хозяин квартиры, и кучер, и швейцар, и городской голова употребляют его к месту и не к месту.

«Может быть, это местная особенность выражения мыслей, – думал про себя Кочетов: – а может быть, и действительно все живут попросту».

II

Чай в ремесленной управе продолжался довольно долго, и Кочетов успел перезнакомиться со «всем Пропадинском» – город был налицо, так что не нужно было делать и визитов. Эти провинциалы, говоря правду, произвели на него приятное впечатление: действительно, в них было что-то такое простое и добродушное, граничившее с халатом и босыми ногами; даже старший врач Кацман, несмотря на свое семитское происхождение, и тот заразился общим настроением и для первого раза дал коллеге товарищеский совет.

– У вас хороший желудок? – спрашивал он, прищуривая левый, косивший глаз.

– Не могу пожаловаться... – улыбнулся Кочетов, поняв тонкий намек.

– Ваш предшественник поплатился именно этим путем, – задумчиво проговорил еврей и пожевал губами. – Знаете, нужна везде мера, даже в известном порядке хороших чувств...

Но Семен Гаврилыч не дал им кончить интересного разговора и в качестве души своего общества объяснил новому члену:

– Вы его не слушайте: Самойло Мосеич совсем швах... Ничего он не стоит у нас и только компанию портит. У нас так: как двенадцать часов – все в ремесленную управу и бре-

дут... Попьем чайку, покалякаем – не нужно и с визитами трепаться.

Взглянув на часы, Кочетов сделал движение человека, желающего вовремя удалиться восвояси.

– Что это вы, батенька?.. – изумился Семен Гаврилыч. – Домой?.. Да что, разве у вас дети там плачут?.. Нет, нет, голубчик, у нас так не играют: не пустим... Только человек глаза успел показать – и сейчас тягу!..

– Не пустим! – послышались голоса, и чья-то рука ласково отняла у доктора его шляпу.

– Видите ли, мне неудобно оставаться уже потому, что я задерживаю чужую лошадь... – бормотал Кочетов, невольно поддаваясь напору приятельских чувств.

– Лошадь? Эге, батенька, хватились чего... – заливался Семен Гаврилыч так, что у него прыгали розовые щеки. – Да я ее давным-давно отослал и привезу вас домой в собственном экипаже. Мы хоть и живем в медвежьем углу, а можем понимать...

Кочетова занимал вопрос, что «весь Пропадинск» будет теперь делать здесь, когда чай кончен, разговоры переговорены и время подвигалось к обеду. Но из недоумения его вывело то, что все, точно сговорившись, поднялись с места зараз и толпой направились к выходу. Правда, странно было, что пропадинцы не прощались друг с другом, но, может быть, это было так принято.

– Едемте, – коротко решил Семен Гаврилыч, поглядывая

на часы.

У подъезда уже ждала приличная пролетка, и кучер, не спрашивая, направился к гостиному двору. Когда экипаж повернул с Соборной улицы на проспект, Кочетов заметил:

– Мне, Семен Гаврилыч, по Соборной улице...

Голова посмотрел опять на гостя удивленным взглядом, но ничего не ответил, потому что экипаж уже остановился перед новым каменным зданием с приветливой вывеской: «Ахал-Теке».

– Вот мы и дома... – заговорил Семен Гаврилыч, помогая своему гостю вылезти из экипажа. – Вы еще молодой человек, учитеесь жить у нас, стариков. То есть здесь мы повернемся на одну минутку, а потом уж домой.

Издали было слышно, как щелкали бильярдные шары, и, к удивлению Кочетова, в общей зале они встретили ту же публику, которая угощалась в ремесленной управе. Как оказалось, гостиница «Ахал-Теке» принадлежала Семену Гаврилычу, и он здесь был действительно дома. Публика распорядилась тоже по-домашнему и называла лакеев полуименами: «Мишка, мне графинчик водки и салфеточной икры» и т. д. Большинство было за мадеру, хотя это еще служило только приготовлением к обеду. Кочетов выпил в управе для чего-то стакан чая, сдобренного ромом, а теперь Семен Гаврилыч приставал с мадерой.

– Я предпочел бы рюмку водки... – заметил он в нерешительности.

– Ах, какой вы: водка от нас не уйдет, Павел Иванович... У нас уж такое заведение, а в чужой монастырь с своим уставом не ходят.

Пристали другие, и Кочетов, чтобы отвязаться, выпил первую рюмку, за которой последовала вторая и третья. Выпитое вино приятно ударяло ему в голову, и он вдруг почувствовал себя совсем легко, так легко, точно он всегда жил в Пропадинске и попал в родную семью. Все кругом пили, и он пил. Время летело незаметно. Кто-то расспрашивал его о мельчайших подробностях его генеалогии: чей сын, сколько семьи, сколько жалованья получает отец и т. д. Кочетов, пригретый общим участием, незаметно разболтался и пустился даже в некоторую откровенность, но вовремя спохватился и посмотрел на своего собеседника – с ним разговаривал какой-то совсем незнакомый господин, которого он не видал даже в управе.

«Что ж это я распоясался... – с недовольным лицом! подумал он про себя, оглядывая еще раз незнакомца. – В незнакомом обществе, в первый раз, а уж язык точно узлом завязан».

Виноватой, конечно, оказалась проклятая мадера, которую Семен Гаврилыч приготавливал в собственном погребе. Дальше все происходило в каком-то тумане. Кочетов опять ехал в пролетке Семена Гаврилыча, краснощекая горничная отворяла знакомый подъезд, а там высокая лестница во второй этаж и целая анфилада хорошо убранных комнат. Что

всего удивительнее, так это то, что здесь они встретили ту же публику, какая угощалась в «Ахал-Теке»: и Голяшкин, и Нагибин, и Огибенин. Но из двух Ивановых сделалось три, а из трех Поповых – два; как это случилось, Кочетов никак не мог разобрать. Может быть, и он, Кочетов, перепутал, а может быть, один Иванов прибыл, а один Попов убыл.

– Душенька, рекомендую: мой друг, Павел Иваныч... – представлял хозяин доктора пожилой, но все еще красивой даме купеческого склада. – Отличный человек!.. Павел Иваныч, ты уж меня извини: у меня что на уме, то и на языке. Широкая русская натура, терпеть ненавижу скалдырников, вроде нашего Кацмана.

Этот переход на «ты» и появление дам заставили Кочетова прийти в себя: где он?.. Нет, нужно подтянуться – в мужской компании мало ли что бывает, а при дамах нельзя безобразничать.

– А вот это сестрица Пашенька... – рекомендовал Семен Гаврилыч высокую красивую брюнетку с такими ласковыми темными глазами и фамильным румянцем во всю щеку. – Прошу любить да жаловать, Павел Иваныч, а у нас первое дело, чтобы все попросту... Пашенька, давай поцелуемся!..

Брат и сестра особенно звонко расцеловались. Кочетову показалось, что красавица особенно пристально посмотрела на него своими темными глазами, а «душенька» нахмурилась. Но неугомонный хозяин уже тащил гостя в следующую комнату, где во всю длину внутренней сены стоял широкий

стол, уставленный бутылками в три ряда, и необходимая к ним «арматура» из закусок.

– Вот теперь мы добрались и до настоящего фундамента! – радостно проговорил хозяин, многозначительно останавливая внимание гостя на графине с очищенной.

– Я не могу, Семен Гаврилыч...

– Павел Иваныч... и ты это говоришь?..

– Нет, я уж того... Мне довольно.

– Вздор! Пашенька, заставь Павла Иваныча исполнить долг.

Кочетов почувствовал присутствие красавицы около себя, именно почувствовал, а она уже сама своими белыми руками наливала рюмки. Что-то такое горячее прилило к самому сердцу Кочетова – то безумное молодое веселье, которое бьет через край. Ивановы и Поповы хлопали рюмки, точно в «Ахал-Теке». Пашенька тоже кокетливо пригубила рюмочку с неизбежной мадерой, а непосредственно за этим следовал обед, причем стул Кочетова оказался рядом со стулом Пашеньки.

– Вы женаты? – спрашивала она, с серьезным лицом разжевывая своими крепкими, белыми зубами корочку черного хлеба.

– Мы его женим, Пашенька, – отвечал хозяин за гостя. – Сначала пусть так поживет, порадуется, а потом мы его и под решето.

По другую руку Кочетова оказался давешний любопыт-

ный господин, который опять начал донимать своими расспросами. Это был седенький ласковый старичок, с каким-то утиным носом, прилизанными на височках волосами и слезившимися глазками. Назойливость этого господина начала бесить Кочетова, и он только хотел резко оборвать его, как Пашенька нагнулась к его уху и прошептала с милой интимностью:

– Будьте осторожны: миллионер... единственная дочь – невеста.

Рука Кочетова как-то сама отыскала под столом теплую руку Пашеньки и крепко ее пожала, а Семен Гаврилыч поймал гримасу от боли на лице сестры и покачал головой. Он обладал счастливой способностью видеть зараз всех, как расторопный приказчик, который понатерся с публикой. Кочетов, конечно, не заметил этого братского движения: ему было опять так хорошо, точно он вернулся в этот дом из какого-то далекого путешествия и точно этот дом был его собственным.

Обед продолжался без конца: пили, ели, спорили, шумели, смеялись и опять пили. Подали свечи. Пашенька угощала своего соседа виноградом и мизинцем указывала на самые крупные ягоды. А старичок-миллионер опять расспрашивал Кочетова о его родных, жевал сухими губами и постукивал ножом о тарелку. У него была мания выбирать женихов для своей дочери, и каждый новый приезжий человек делался его жертвой, как было и теперь.

Что было дальше, Кочетов плохо сознавал. В комнате было ужасно жарко, потом все шумели, а Семен Гаврилыч поразбойничьи приставал ко всем со своей мадерой. Потом один из Поповых затянул высоким тенорком:

Пей токайское вино,
В сердце жар вошьет оно...

– У нас все попросту, голубчик ты мой... – шептал Семен Гаврилыч, обнимая гостя. – Все тут, как на ладонке. Давай, поцелуемся...

Поцелуи были без конца – все лезли целоваться: и Нагибин, и Огибенин, и Голяшкин, и все Поповы, и все Ивановы.

– Эй, холодненького! – командовал хозяин, взмахивая салфеткой захваченному из «Ахал-Теке» официанту.

Потом... Позвольте, что же было потом?.. Да, потом пела Пашенька какие-то цыганские песни, кто-то тяжело плясал, где-то полетела со звоном посуда на пол, и опять сладкий туман покрывал все, а Кочетов уже сам лез целоваться к совершенно незнакомому господину.

III

Пробуждение Кочетова на другой день было ужасно: голова болела отчаянно, но хуже всего было душевное состояние. В самом деле, в первый же день своей службы он напился, как сапожник... Очень мило!.. Если пьют купцы, то им и бог велел, а ведь он, Кочетов, человек с университетским образованием и должен служить примером для других. Наконец в интересах службы неудобно, да и вообще скверно, гадко, возмутительно... Проклятая студенческая привычка – натренироваться с приятелем – сказала, но там это делалось и с холоду, и с голоду, и еще по многим другим уважительным причинам.

– Скотина... как есть скотина! – вслух повторял Кочетов, испытывая жгучее чувство раскаяния. – Наверно, вчера Авдотья с удивлением принимала пьяное шарашившееся тело нового жильца, а хозяин только ухмылялся... «У нас все по-просту!..» Черт бы их взял... А кучер Семена Гаврилыча: ведь, наверно, он отвозил пьяного гостя на фатеру?.. И теперь весь город знает уж все, да еще от себя прибавит столько же...

Чем дальше Кочетов думал, тем становилось ему хуже. Семен Гаврилыч чуть не с первого раза начал говорить ему «ты» – видит птицу по полету, потом все целовали его, и он лез целоваться, с кем-то пускался в откровенность, с кем-то

спорил и говорил каким-то дамам пошлые любезности, как развернувшийся в компании «фершал» или писарек. Нет, это просто гнусно... А кучер головы везет мертвое тело нового дохтура и думает: «Здорово нахлесталось его благородие, а еще образованные!» Нет, слово-то проклятое, которое так и лезло ему теперь в голову, как назойливая осенняя муха: «У нас попросту, все попросту».

«Разве удрать? – мелькнула у Кочетова малодушная мысль. – Сказать Авдотье, чтобы сбегала на почтовую станцию за лошадьми, на скорую руку собрать тощие пожитки – и Пропадинск фюить!..»

Эта мысль значительно ободрила Кочетова, хотя уехать теперь ему решительно было не с чем: только поступил человек на место, и от прогонных денег осталось одно приятное воспоминание. Нужно было экипироваться, то да се, студенческие долгишки, наконец, оставить несколько крох старику-отцу, который едва тянется на своей грошовой пенсии. А когда старик вышел провожать его, то отвел в сторону и таинственно прошептал на ухо: «Знаешь, Паша, в новом-то месте того... поосторожнее... Особливо поимей в виду горячительные и спиртные напитки...» Старик сам попивал и знал, что говорит. Вероятно, и сам в юности делал глупости, да и всем людям свойственно ошибаться. «Ты, Паша, ежели что, так в своей квартире устрой кутежку, ну, пришли двое – трое товарищей, поколобродили, и шито-крыто... Понимаешь?..» И теперь Кочетов точно видел это доброе отцовское лицо,

которое смотрело на него с укоризной и шептало: «Эх, Паша, Паша, тово... не ладно вышло вчера с горячительными-то напитками! Я тебе говорил, Паша...» Да, Паша хорош... однако позвольте, какое странное совпадение: Паша, Пашенька... она что-то шептала ему про миллионную невесту, а он пожимал ей руку под столом. Да, все это было... Семен Гаврилыч так сочно расцеловал ее прямо в губы – это тоже было.

«Эге, да я начинаю себя оправдывать? – вовремя спохватился Кочетов. – Нет, брат, дудки: ничем не прикроешь своего свинства, как ни вывертывайся. Еще осуждал пьяных купцов, которые скандалят по трактирам, а сам-то как безобразничал вчера... А все проклятая русская мягкая натура: нет выдержки, нет, наконец, уважения к самому себе, – и это пьяное свинство... бррр!...»

Осторожный стук в перегородку заставил Кочетова очнуться.

– Павел Иваныч... а, Павел Иваныч?..

– Что угодно, Яков Григорыч?..

– Извините, пожалуйста, что я вас разбудил, а только, изволите ли видеть, лошадь от Бубновых второй час дожидается... Вас к больному приглашают. Карточка у вас на столе...

Кочетов соскочил с кровати, подбежал к столу и взял визитную карточку: «Ефим Назарович Бубнов». А на обороте тонким женским почерком написано: «Пожалуйста, поторопитесь к тяжелому больному». Карточка приличная и фамилия знакомая: Бубнов, Бубнов, Бубнов... Да, вчера Буб-

новы отбили у него единственного извозчика Фомку. Однако голова зело трещит и самого даже пошатывает. И «физиогномия» хороша, особенно выражение глаз – вообще, самый надлежащий вид, чтобы ехать с первым медицинским визитом. Прекрасно. Вот и Яков Григорьич лезет прямо в комнату, чтобы полюбоваться, как ломает человека с похмелья. Удивительное нахальство... Да, может быть, и лошадь от Бубновых послана затем только, чтобы посмотреть, каким он явится после вчерашней попойки. Эта мысль просто обескуражила Кочетова, и он сел на ситцевый просиженный диванчик, как ошпаренный.

– А я, знаете, уж припас еще с утра... – добродушно говорил Яков Григорьич, показывая пузырек с нашатырным спиртом. – Как рукой снимет, и даже хорошо внутрь каплю или две принять. Конечно, вы молодой человек, так оно вам не в привычку.

– Послушайте, у Бубнова есть действительно больной?..

– А как же... Сам хозяин захворал, не знаю, какая его бо-лесть ущемила... А я Авдотью услал за сельтерской...

Это родственное участие Якова Григорьича и вообще весь его добродушный вид тронули Кочетова. Ему даже хотелось, чтобы вот этот самый старичок пожурил его отчески, а ему бы, Кочетову, сделалось так стыдно, как напроказившему школьнику.

– Вчера-то я хорош явился? – спрашивал Кочетов, чтобы узнать мнение постороннего лица.

– А я, видите ли, Павел Иваныч, нарочно не велел Авдотье дожидать вас, потому как видел, что кучер Луковкина назад приехал, а Семена Гаврилыча известная повадка... Ну, и поджидал вас, а уж вы этак часу во втором обратились в, можно сказать, весьма грузны. Только вы напрасно беспокоитесь, Павел Иваныч... Никто не осудит, потому что от Семена Гаврилыча жив человек не уйдет.

Две бутылки сельтерской и нашатырный спирт достигли своей цели, и через четверть часа Кочетов ехал к пациенту, удивляясь изящному экипажу на лежащих рессорах и великолепной серой лошади. Бородастый кучер с шиком подкатил его к двухэтажному дому. Застоявшаяся лошадь так шаркнулась у подъезда всеми четырьмя ногами. На звонок выскочила такая же краснощекая горничная, как у Семена Гаврилыча, и молча повела его во второй этаж. В зале, убранной с трактирной роскошью, как и у Семена Гаврилыча, видимо, дожидалась его сама хозяйка дома – высокая молодая дама в черном шелковом платье.

– Извините, что я так бесцеремонно решила побеспокоить вас, доктор... – проговорил знакомый женский голос, и Кочетов только сейчас узнал в этой жене больного мужа вчерашнюю Пашеньку.

– Помилуйте, это мой долг... Виноват, я не знаю, как вас зовут?..

– Прасковья Гавриловна...

Однако как женщины умеют меняться вместе с обстанов-

кой: эта Прасковья Гавриловна совсем не походила на вчерашнюю Пашеньку – лицо строгое, манеры сдержанные, одним словом, настоящая римская матрона. Впрочем, болезнь мужа могла повлиять.

– Вы мне позволите, Прасковья Гавриловна, познакомиться с вашим больным?..

Она знаком пригласила его следовать за собой. Прошли гостиную с коврами, тяжелыми драпировками и шелковой мебелью, потом столовую и наконец остановились у дверей спальни или кабинета – трудно было разобрать издали. Оказался кабинет и довольно плохой, сравнительно с обстановкой других комнат. На клеенчатом диване, разметав руки, лежал и больной, еще молодой господин в расшитом шелками халате.

– Ефим Назарыч... – недовольно, строгим голосом окликнула она. – Доктор приехал.

Больной повернул к ним свое опухшее бледное лицо, сделал какой-то жест трясущейся рукой и прохрипел:

– Пашенька, ррю-умочку...

Двух минут было совершенно достаточно, чтобы сделать самый неопровержимый диагноз: у Ефима Назарыча был *delirium tremens*¹.

– Вы доктор, што ли? – спрашивал больной, когда хозяйка, не ответив, вышла из комнаты.

– Да, я...

¹ Белая горячка (лат.).

– Так вот что... Вон в углу, где этажерка... поймите его, пожалуйста!.. Да по ногам... Пашенька, ррю-умочку!..

«Хорош больной...» – думал про себя Кочетов, наскоро набрасывая рецепт.

Вернувшись в гостиную, Кочетов нашел там хозяйку в обществе Семена Гаврилыча. Они о чем-то таинственно советовались, и появление доктора заставило хозяйку быстро выдернуть свою руку, которую Семен Гаврилыч держал обеими руками.

– Ну, что, как вы, милейший доктор, нашли больного?.. – осведомился Семен Гаврилыч. – Месяца три чертил... что ни день, то и полведра мадеры. Конечно, сильный человек, здоровый, но все-таки... А я за вами завернул, Павел Иванович: поедemте в ремесленную управу.

– Нет, благодарю вас... Мне вот необходимо принять некоторые меры с больным.

– А Пашенька на что? Вы ей скажите только, а сестрица уж все сделает... Ведь не в первый раз отваживаться-то ей с своим сокровищем!.. Кстати, там переговорим с вами и о деле. Больничку новую строим, так нужно смету проверить, потом... да мало ли у нас дела наберется!

От такого приглашения трудно было отказаться, да и Прасковья Гавриловна больше не удерживала. Она внимательно выслушала его советы, ласково пожала руку и не без ловкости сунула конверт с подаванием. Семен Гаврилыч сделал вид, что занят приставшей к сюртуку пушинкой, и усерд-

НО СКОБЛИЛ ЕЕ НОГТЕМ.

IV

Уездный городишко Пропадинск, заброшенный в черноземную равнину, граничившуюся с бесконечной киргизской степью, или ордой на местном жаргоне, принадлежал к числу разорвавшихся русских городов. Сравнительно еще недавно он пользовался громкой популярностью: купцы и счету не знали своим деньгам, а пропадинские богатые невесты вошли в поговорку. Но как история богатства, так и пропадинской бедности не отличалась большой сложностью. Расположенный в центре черноземной полосы, Пропадинск служил долгое время главным хлебным рынком, но освобождение крестьян и прилив сильных капиталов все перевернули взерх дном. Открылись новые хлебные рынки, а пропадинские толстосумы оказались малыми ребятами перед надвигавшейся бог знает откуда грозой – счет шел уже не на десятки и сотни тысяч рублей, а прямо на миллионы. Сильные капиталы давили пропадинских толстосумов беспощадно, а открывшиеся банки и легкий кредит дополняли картину разорения. К этому нужно прибавить еще то, что пропадинские коммерсанты как-то остались в стороне от общего промышленного движения и вели свои дела по старинке, что их и доконало. Город кое-как влачил свое жалкое существование, а последние представители захудавшего купечества проедали последние гроши и пускались на разные художества.

Попавши в эту разлагавшуюся среду, Кочетов быстро освоился с ней и незаметно для самого себя втянулся в окружающую обстановку. День за днем, неделя за неделей – время тянулось само собой, а с ним прививались и новые привычки. Работы было немного. Городская больница все еще строилась. Богатые пациенты приглашали только за тем, чтобы поболтать с доктором и вместе выпить рюмку водки.

Чаще других ему приходилось бывать у Бубновых. Здесь было какое-то царство мадеры, и «сам» не успевал поправиться от одного запоя, как сейчас же переходил к следующему номеру. Это было что-то ужасное. Дрянная пропадинская мадера выпивалась прямо четвертями. Молва гласила, что Семен Гаврилыч нарочно спаивает зятя, и указывала на его братские поцелуи с Пашенькой. У Бубнова был еще капитал, но не было никого из близкой родни, и в этом видели тонкую политику градского головы. В маленьких провинциальных захолустьях известно все и про всех, хотя Кочетов, бывая в бубновском доме чуть не каждый день, не мог бы сказать ни да, ни нет. Сначала он явился по приглашению, а потом, освоившись с захолустными приличиями, ехал так, чтобы убить время. Вечером пропадинцы просто ездили «на огонек» – увидят в окне свет, значит, кто-нибудь есть дома, а если есть кто-нибудь дома, то должна быть и мадера.

У Кочетова была более уважительная причина; он немного ухаживал за Прасковьей Гавриловной, которая ему, чем дальше, тем больше нравилась. Сначала он принял ее за по-

датливую бабенку, бесившуюся с жира, и рассчитывал на легкий успех: нужно же чем-нибудь развлекаться, когда нет ни театра, ни клуба. Но, присмотревшись ближе, он должен был переменить свое заключение. Прасковья Гавриловна была любезна с ним и часто подавала некоторые шаловливые поводы, но повертывались моменты, когда она с таким удивлением смотрела на Кочетова и обдавала его таким холодом, что оставалось только благоразумно уходить подальше.

– Я вас не понимаю, – говорил он ей однажды в припадке откровенности. – В вас две женщины, Прасковья Гавриловна: одна ласковая, веселая, а другая холодная и даже суровая. Я вас иногда просто боюсь... А главное, никогда нельзя за вас поручиться.

– Пустяки вы говорите, доктор: все наши пропадинские купчихи одинаковы. Только по шляпкам и можно различить...

– Я не говорю про других, а про вас.

– Перестаньте, пожалуйста...

В Прасковье Гавриловне была еще третья женщина, которой Кочетов и не подозревал: она собственноручно вела все свои торговые дела и вела очень недурно. Вынесенный в приданое капитал увеличивался, и Прасковья Гавриловна делала близким людям ссуды под двойные векселя и жидовские проценты. Целовавший ее братец был у нее по уши в долгу. Замуж она была выдана стариком-отцом против своей

воли, никогда не любила мужа и по временам потихоньку от всех утешалась той же мадерой. Последнее знал только один Семен Гаврилыч и по-своему пользовался этой слабостью.

– Отчего вы не женитесь на Седелкиной? – спрашивала иногда доктора Прасковья Гавриловна и задумчиво смотрела ему прямо в глаза таким странным взглядом, очевидно, думая о другом.

Старик Седелкин был тот миллионер, который все искал подходящего жениха своей дочери.

– Неподходящее дело, – коротко объяснил Кочетов. – Она богата, а я беден. Что же из этого может выйти?.. Притом она совсем мне не нравится...

– У нас всегда женятся на богатых невестах и даже изда- лека приезжают за этим. А что у вас денег нет, так, по-мо- ему, таким людям и нужно жениться на богатых. Хотите, я посватаю вам?..

– Вы меня дразните, Прасковья Гавриловна?..

– Нисколько! От чистого сердца...

– В таком случае, мы совсем не понимаем друг друга...

– Очень может быть... Я неученая и едва умею подписать свою фамилию, и то братец три года учил.

– Неужели вам приятно было бы видеть меня мужем Се- делкиной?.. Теперь я бедный человек, но все-таки совершенно независимый, а тогда...

– Ах, какой вы странный!.. Да ведь нужно же когда-нибудь жениться, а не все ли равно на ком...

– Нет, не все равно... Видите ли, я немножко поздно явился к вам в Пропадинск, а если бы приехал пораньше, тогда может быть, и женился бы на богатой невесте, но только не из-за денег.

– Это вы про меня, что ли? – как-то по-детски просто удивлялась Прасковья Гавриловна и так хорошо смеялась, а потом с кокетством горничной прибавила: – Я не верю мужчинам.

По вечерам в большом бубновском доме было так хорошо! Везде цветы, мягкая мебель, много света и вообще какого-то уюта. Нужда еще долго не постучит в резную дубовую дверь подъезда, а Прасковья Гавриловна так и состарится среди окружающего ее тупого купеческого довольства. Ее огорчало только то, что не было детей. Часто по вечерам, когда Прасковья Гавриловна сидела в гостиной на диване с какой-нибудь дамской работой в руках, доктор читал ей что-нибудь или рассказывал. Она умела слушать, и ему нравилось, как звуки его собственного голоса отчетливо раздаются под высоким потолком. Просыпалась какая-то буржуазная зависть к этому комфорту и беззаботному существованию, но Кочетов вовремя вспоминал о своей бедности и уличал самого себя в грехопадении.

– А как вы думаете, доктор: долго еще протянет мой муж? – спросила однажды Прасковья Гавриловна, когда они таким образом сидели в гостиной.

– Не думаю, чтобы долго, если он не бросит свою маде-

ру...

У Прасковьи Гавриловны этот ответ вызвал на глазах слезы, и она низко наклонилась над своей глупой работой. О чем она плакала? Неужели о муже, которого не любила, или о своей молодой жизни, не выдавшей ни одного солнечного дня? Вообще, какая-то загадочная натура, – думал про себя Кочетов, как все бесхарактерные люди, не выносивший женских слез.

Такие tête-à-tête удавались не часто. Обыкновенно являлся или сам Бубнов или Семен Гаврилыч, а с ними – и бесконечная мадера. Бубнов трезвый был несчастным человеком – одутловатый, с нездоровым цветом лица и с удушливым кашлем, он молча ходил из угла в угол и похрустывал холодными, влажными пальцами. В период запоя он буйствовал, как чумной бык, и его обыкновенно связывали. Кочетов пробовал было уходить от мадеры, но это ни к чему не вело.

– Э, батенька, от нас не уйдешь, – фамильярно объяснял Семен Гаврилыч, прищуривая глаза. – Возьму да сам приеду к тебе в гости, а без мадеры какой же я человек...

– А я не буду вас угощать...

– А я с собой привезу... Нет, у нас, голубчик, все попросту!

От Семена Гаврилыча все-таки еще можно было отвязаться разными правдами и неправдами, но было хуже, когда принималась угощать сама Прасковья Гавриловна. Она это делала с такой милой настойчивостью и так ласково смотре-

ла прямо в глаза, что у Кочетова не было сил отказаться.

– Пашенька, пригубь, а то он может подумать, что мадера с отравой... – хохотал Семен Гаврилыч, довольный этой комедией.

Прасковья Гавриловна не заставляла себя просить, наливала себе маленькую рюмочку, отпивала крошечный глоток и с улыбкой смотрела на доктора.

– Вот у нас как!.. – повторял довольный Семен Гаврилыч и опять целовал сестру в губы. – Ай-да сестрица... люблю!

Редкий день проходил без того, чтобы Кочетов не являлся домой немного навеселе. Сначала он стеснялся в таком виде показываться перед Яковом Григорьичем или перед Авдотьей, но потом это неловкое чувство прошло само собой. Лицо у доктора заметно пополнело, появился даже румянец какого-то кирпичного цвета и пришлось переделывать платье.

– У нас уж климат такой, – добродушно объяснял Яков Григорьич, тоже ходивший вечно с мухой. – Поживет человек, и сейчас в нем полнота начнется...

– Это от мадеры, Яков Григорьич.

V

Бубнову делалось все хуже, и Кочетову приходилось дежурить у него по целым дням. Развивалась водянка. Печень была увеличена, как у всех пьяниц.

– Ведь мне всего двадцать восемь лет... – простонал однажды Бубнов, с каким-то отчаянием глядя на доктора. – А какое здоровье-то было: подковы ломал.

– А давно вы начали пить?..

– Да не помню хорошенько... После женитьбы постарался.

Кочетов заметил, что больной боится жены, и просил ее не ходить в его комнату. С ним делалось дурно, когда в соседней комнате шуршали легкие шаги. Чтобы скрыть свое волнение, он притворялся спящим и лежал с закрытыми глазами все время, пока Прасковья Гавриловна сидела в кабинете. По конвульсиям дрожавших рук Кочетов знал, что Бубнов не спит, но не выдавал его. А как он страдал, этот несчастный пропойца!.. Лицо получало какой-то зеленоватый, трупный цвет, на лбу выступал холодный пот, кулаки судорожно сжимались, и больной кусал губы, чтобы не выдать своих мук. Теперь он просил мадеры одними глазами, в которых застывало какое-то животное отчаяние.

В январе Бубнов уже лежал вплотную, а в феврале он умер. Смерть даже пустого и никому не нужного человека

имеет в себе что-то внушительное, что невольно заставляет задумываться. Глядя на холодевший труп своего пациента, Кочетов думал о том, что неужели вот этот купец Бубнов родился на свет только для того, чтобы выпить несколько бочек мадеры? Нет, это ужасно... Ведь был он ребенок, его ласкала любящая материнская рука, потом он вырос такой сильный и красивый, встретился с Прасковьей Гавриловной, а там уж пошла сплошная мадера, мадера без конца... Ведь думал же о чем-нибудь этот странный человек, что-нибудь чувствовал и желал? Может быть, в мадере он топил свое одинокое горе, которого не мог или не хотел ни с кем делить...

Купеческие похороны со всем их безобразием служили только логическим заключением безобразной жизни. Конечно, явился «весь Пропадинск», пивший чай в ремесленной управе и отсюда делавший каждый день обход по знакомым – сегодня у Семена Гаврилыча легкая закуска, завтра у Нагибина, послезавтра у Голяшкина или Огибенина, а там экстраординарные случаи для усиленной выпивки – именины, родины, крестины, похороны, годовые праздники и даже юбилеи. Это было что-то ужасное, роковой круг, из которого трудно было вырваться. Бубнов умер раньше других, потому что был сильнее и мог больше злоупотреблять. Заливался хор соборных певчих, соборный протопоп сказал на свежей могиле небольшое слово на тему, что все люди смертны и есть вечная жизнь, а потом все закончилось уже похоронной мадерой.

– Пашенька, не плачь... – говорил Семен Гаврилыч, утешая сестру с обычной фамильярностью. – Слезами не воскресишь человека, ежели он прошел свой предел.

Три Иванова и два Поповых повторяли то же самое с некоторыми вариациями. Кочетову было гадко, и вместе с тем он не мог не заметить, что траурный костюм очень шел к Прасковье Гавриловне, черной рамкой выделяя ее молодую, полную сил красоту. Конечно, на похоронах так думать не совсем прилично, и Кочетов всепил мадеру, чтобы забыться от какого-то сумбура, который начинал его давить. Жизнь – глупая вещь.

– Ведь вот жил-жил человек, а потом взял да и умер, – со вздохом говорил старик Седелкин, преследовавший доктора своим вниманием.

– Жил долго, а умер скоро, – глубокомысленно вторил председатель земской управы.

Накатывалось что-то вроде раздумья на этих бесшабашных людей, но и этот пробел заливался мадерой. Семен Гаврилыч разыгрывал роль хозяина и с каким-то цинизмом повторял:

– Господа, помянемте покойника мадерцей... Все там будем! Не правда ли, отец дьякон?.. У нас все попросту: был человек – и нет его... А Ефим Назарыч уважал весьма мадерцу.

С похорон Кочетов вернулся домой совершенно пьяный, и Яков Григорыч бережно уложил его в постель. Старик

вполне сочувствовал квартиранту, потому что нужно же было помянуть покойника... Даже и он, поджидая квартиранта, перепустил лишнюю рюмочку: тоже жаль человека. Бывало, идет по улице Бубнов, весь в бобрах, а увидит старика – и поклонится. Обходительный был человек, нечего сказать.

Когда на другой день утром доктор проснулся с отчаянной головной болью, Яков Григорьевич завернул к нему поправиться вместе – поправились очищенной.

– Она, очищенная эта самая, отлично расшибает кровь, – тоном специалиста объяснял старик, нюхая корочку черного хлеба.

– Расшибает?..

– Так точно-с... От мадеры кровь, например, сгущается, и выходит зловредная вещь. Да-с... Вы как думаете, Семен-то Гаврилыч пьет? Он, например, пьет наряду с другими и дойдет до своего градуса, значит, в полную меру... Хорошо-с. А на другой день, хоть сегодня взять, вас ломает и кочевряжит, как Мазепу, а он, Семен-то Гаврилыч, как стеклышко. Это как, по-вашему?

– Не знаю... Железное здоровье такое.

– А Бубнов-то плох был? Двумя четырехпудовыми гири крестился.

Оглянувшись со свойственной ему осторожностью, Яков Григорьевич шепотом сообщил:

– Все дело в насосе, Павел Иваныч...

– В каком насосе?..

– А в Нижнем был Семен-то Гаврилыч, ну там эту самую штучку и приобрел... Весьма даже оно любопытно: как напился до своего градуса, начало его мутить, он, значит, Семен Гаврилыч, насос себе в пасть и запустит, да все и выкачает отседа, а завтра, как встрепанный. Неужели не слышали?

– Нет...

– По-моему, это нехорошо и даже весьма нехорошо... Вон покойному Бубнову предлагали, так он всю машину изломал у Семена Гаврилыча, потому как я, говорит, не хочу быть скотиной. Нет, это уже что же, Павел Иваныч? И вы не поддавайтесь Семену-то Гаврилычу, ежели он к вам тоже с машинкой со своей подсыплется... Лучше уж, по-моему, в закон вступить: другого это весьма поддерживает.

– Жениться?

Переход от насоса к женитьбе был сделан так быстро и неожиданно, что Кочетов хохотал, как сумасшедший. Вот так логика!..

Мысль о женитьбе заставляла Кочетова задумываться серьезно, хотя он и не имел никаких серьезных намерений в этом направлении.

Вот уже скоро год, как он прозябает в Пропадинске, но что из этого вышло? Своим делом он занимался спустя рукава, потому что больница все еще строилась, а практика была ничтожна. Нужно купить книг и засесть дома. Но, с другой стороны, свободного времени у него почти не было: туда да сюда, глядишь, день и прошел. Потом эти вечные выпивки...

Попивал он и студентом, но тогда это делалось просто с голода, а теперь не могло быть даже и этого оправдания. Да, он незаметно втянулся в эти выпивки и, презирая окружавших его пьяниц, уже испытывал непреодолимую потребность в известный час выпить: сначала перед завтраком, потом перед обедом, а потом и так, за здорово живешь, где случится. Иногда он завертывал и «на огонек», как это делали все. Но часто, возвратившись домой, Кочетов предавался глубокому раскаянию и давал себе слово бросить все завтра же. Действительно проходило дня два и даже три, а потом незаметно повторялась старая история.

– Господа, Павел Иваныч у нас не пьет... – подшучивал Семен Гаврилыч при каждом удобном случае. – Значит, мы все горькие пьяницы, и больше ничего.

Все это было слишком глупо, но у Кочетова недоставало выдержки, и он, рассердившись, делал какую-нибудь глупость.

«Жениться для того, чтобы не спиться, – думал он иногда в минуты раскаяния. – Что же это такое: обманывать самого себя?.. Нет, это уж совсем глупо. Больше: нечестно...»

Оставался еще другой выход: уехать из Пропадинска при первой возможности. Кочетов и остановился на этой спасительной мысли. В самом деле, уехать, и дело с концом. Всякая мадера останется в Пропадинске, а он, Кочетов, начнет жить снова... Как это хорошо. Больные думают так же, точно можно уехать от своей болезни.

Чтобы не откладывать дела в долгий ящик, Кочетов написал кое-кому из старых знакомых, не найдется ли ему где-нибудь места не в такой глуши, как Пропадинск. Одному старому товарищу он даже откровенно исповедался относительно истинных причин такого желания, и это значительно его облегчило.

Он стал смотреть на свое существование в Пропадинске, как на что-то временное, и на этом совершенно успокоился.

«Вот удивится Семен Гаврилыч, когда я к нему заявлюсь с последним визитом! – с улыбкой думал Кочетов, представляя себе удивленное лицо градского головы. – „Как? куда? зачем?.. Не хотите ли, Павел Иванович, мадерцы“... Ха-ха!..»

VI

По-прежнему заходить к Прасковье Гавриловне теперь было неудобно. Она хотя и носила траур, но провинциальная сплетня не знает пощады. Да и сама Пашенька в последнее время как-то перестала нравиться Кочетову. В ней было что-то такое отгалкивающее и неприятное, хотя по наружности она оставалась прежней завидной красавицей.

– Вы что же это меня забыли, Павел Иванович? – ласково пеняла она, встретив доктора у Семена Гаврилыча. – Завернули бы когда-нибудь поболтать...

– Не знаю... я постараюсь...

– Вы знаете, что за вдовушками всегда ухаживают...

Эта шутка вышла уж совсем неловко, да она была, по меньшей мере, неуместна. Но доктор вспомнил, что он скоро уедет из Пропадинска, и решил возобновить знакомство. Прасковья Гавриловна встретила его как старого друга и пожаловалась на скуку. Зеркала везде были затянуты кисеей, и веяло заметной пустотой.

– Когда я остаюсь одна в этих комнатах, – говорила хозяйка, занимая гостя, – мне делается даже страшно... Слышатся какие-то шаги, какой-то стук, и я по ночам не тушу огня в своей спальне. Вы не можете понять этого чувства, потому что для вас, как холостого человека, все трын-трава.

«Ну, теперь начнется опять разговор о женитьбе...» –

невольно подумал Кочетов, но, вспомнив про свой отъезд, проговорил с большой развязностью, удивившей его самого:

– А я, Прасковья Гавриловна, надумал жениться... Говорю совершенно серьезно!..

Прасковья Гавриловна пытливо посмотрела своими большими глазами прямо ему в лицо и только покачала головой.

– Уверяю вас, Прасковья Гавриловна. Вы не верите?..

– Вы шутите. Вижу по лицу.

– Нисколько. Я даже хотел обратиться к вам за советом, Прасковья Гавриловна, тем более, что вы сами еще недавно предлагали мне.

Эта мистификация забавляла Кочетова, и он продолжал разговор в этом направлении, стараясь подзадорить бабью страстишку устраивать счастливые браки. К его удивлению, Прасковья Гавриловна туго поддавалась и не шла на закинутую удочку.

– Нынешние женихи только на языке, – заметила она на прощание. – И так изживете век: разве не стало нашего брата, баб?..

Встречаясь с Прасковьей Гавриловной, Кочетов каждый раз старался заводить этот разговор, который ее заметно волновал и даже сердил. Она так хорошо сердилась: глаза темнели, губы надувались, на белом низком лбу всплывала такая хорошенькая морщинка.

– Да вы серьезно, что ли? – спросила она однажды и заалелась еще сильнее, точно он сватался за нее.

– Seriously. Я уж решил жениться на этой Акулине Седелкиной.

– Не Акулина, а Марья...

– Виноват: действительно, Марья... Это очень красивое имя: Маня, Манечка. Не правда ли? Кстати, вы позволите мне зайти для окончательных переговоров по этому поводу?

– Послушайте, вы смеетесь надо мной, как над душой!..

– Прасковья Гавриловна...

– Ничего и слушать не хочу. Вы противный человек, а я считала вас гораздо лучше.

– Я постараюсь исправиться. Знаете поговорку: женится – переменится...

– Вы насмешник!

Под предлогом серьезно поговорить о деле, доктор начал бывать в бубновском доме почти каждый день и раза два совсем вывел хозяйку из себя. Эта шутка ему нравилась. Раз, заявившись в белом галстуке и свежих перчатках, Кочетов весело заявил:

– Ну-с, я заехал за вами, дорогая Прасковья Гавриловна.

– Это еще что за новость?

– Вы обещали съездить со мной к невесте. Одному как-то, знаете, неловко, да и старик Седелкин... Ну, одним словом, о чем я буду с ним разговаривать? А если вы займете его, тогда уж я переговорю с невестой...

– Вам следует сделать визит сначала одному, Павел Иванович, – серьезно ответила Прасковья Гавриловна, сдвигая

свои соболиные брови.

– Ах, помилуйте, что за глупые церемонии! Лучше все попросту устроить. Да и Марью Семеновну я встречал у вас же, а старика Седелкина каждый день встречаю в управе.

– Я пойду одеваться?.. – нерешительно проговорила Прасковья Гавриловна.

– Пожалуйста.

Эта комедия незаметно начала нравиться Кочетову тем, что сближала его с Прасковьей Гавриловной, как всякие любительские спектакли. Он в качестве жениха смело садился теперь рядом с ней на диван, брал ее за руку и позволял самые интимные темы. Когда из своей комнаты Прасковья Гавриловна показалась в тяжелом шелковом платье, Кочетов подбежал к ней и горячо поцеловал руку. Нет, решительно, получалась пресмешная комедия... Когда поехали к Седелкиным, Кочетов смело обнял свою даму за талию и только улыбнулся, когда она на него взглянула удивленными глазами и сделала слабое усилие освободить талию из крепко охватившей ее руки.

Седелкины были дома. Они жили по-старинному, на купеческую руку. Каменный дом делился на две половины; парадная большая половина стояла всегда пустой, и хозяева жались в двух маленьких комнатках где-то около кухни. Появление неожиданных гостей взбудоражило это тугое гнездо до основания. Старик выбежал навстречу, торопливо застегивая засаленный длиннополый сюртук, а Марья Семенов-

на показалась только потом. Девушка, видимо, торопилась одеваться и вышла к гостям с взволнованным лицом. Она не была красива, но свежая миловидность заменяла красоту.

Прасковья Гавриловна повела дело с уверенностью настоящей свахи и раза два принималась горячо целовать конфузлившуюся девушку.

– У меня все поясница к ненастью отзывается... – говорил старик, стараясь попасть в тон будущему зятю-доктору. – Конечно, мои года уже не маленькие, да и своя забота везде.

– А вам нужно какого-нибудь молодого человека, – вмешалась Прасковья Гавриловна, – вот и будет замена... У вас и в комнатах перестало жилым пахнуть, Семен Игнатьич.

Кочетов, улыбаясь про себя, старался в тонкости разыграть заправского, всамделишного жениха и с удовольствием чувствовал на себе боязливый взгляд невесты. Она так мило опускала глазки, когда он смотрел на нее, а когда он подошел к ней и заговорил какие-то пустяки, у бедняжки даже дрожали руки, «Нет, уж я, кажется, того, слишком разгулялся...» – подумал Кочетов, и в нем проснулось совестливое хорошее чувство. Зачем он ломается над этим стариком и его дочерью?.. Он живо представил себе те чувства и мысли, которые переживали они сейчас, и сделал глазами знак своей свахе, что пора убираться восвояси.

– Милости просим в другой раз... – приглашал старик, и эти простые слова стояли в ушах Кочетова всю дорогу, как живой упрек в шалопайстве.

– Что, понравилась вам невеста? – спрашивала Прасковья Гавриловна, переживая то свадебное волнение, из-за которого такие женщины лезут устраивать чужие свадьбы.

– Во-первых, вы не должны мне говорить «вы», – ответил Кочетов, притягивая сваху за талию совсем близко к себе: – вы будете моей посаженной матерью... А во-вторых, я сегодня хочу мадеры, чтобы вспрыснуть хорошее дело!

Прасковья Гавриловна ничего не ответила и бойко вбежала по лестнице своего дома, так что Кочетов, поднимавшийся за ней, мог любоваться ее белыми юбками и шелковыми модными чулками, так соблазнительно охватывавшими точно выточенную ногу.

В передней, помогая раздеваться свахе, он прямо обнял ее и поцеловал в затылок, где золотистыми завитками прятались отделявшиеся короткие прядки волос. Прасковья Гавриловна кокетливо ударила его по рукам и убежала в свою комнату с легкостью и грацией расшалившейся девочки.

«Э, да и посаженная маменька недурна...» – думал Кочетов, расхаживая в гостиной в ожидании мадеры и припоминая шелковые чулки.

– Вот что, посаженный сынок, ты порядочный повеса, – заговорила Прасковья Гавриловна, возвращаясь с бутылкой и рюмками. – Я думала о тебе гораздо лучше!..

– Мамынька, исправлюсь...

По возбужденному лицу Прасковьи Гавриловны румянец разошелся горячими пятнами, и она старалась не смотреть

на гостя. Это оживление заразительно подействовало на Кочетова, и он разом выпил две рюмки.

– Ну, так что же, как невеста? – спрашивала Прасковья Гавриловна, глядя на Кочетова влажными глазами с расширившимся зрачком. – Славная девочка, право... Дом – полная чаша.

– Мне на эти пустяки наплевать, а главное – сколько старик дает за ней денег, – продолжал Кочетов свою комедию. – Будемте говорить серьезно, мамынька. Деньги – первая вещь, а уговор на берегу...

– Вот ты какой, а?... А раньше что говорил? Теперь, видно, за ум хватился... Семен Игнатьич дает за дочерью пятьдесят тысяч, а после своей смерти остальное.

– А нельзя ли до смерти ухватить все, мамынька?

Прасковья Гавриловна откинулась на спинку кресла и посмотрела на Кочетова улыбающимися глазами. Потом она налила себе рюмку мадеры и залпом выпила ее, поперхнулась и так смешно закашлялась. Кочетов ходил по гостиной, пил рюмку за рюмкой и дурачился все время, как школьник.

В окна смотрела душистая, летняя ночь. В Пропадинске хороши такие ночи. Из садика под окнами несло ароматом левкоев и резеды.

– Мне жарко! – проговорила Прасковья Гавриловна, стараясь не смотреть на жениха. – А вы, Павел Иваныч, большой повеса, и вот от вас-то я не ожидала ничего подобного.

Яков Григорыч долго и напрасно ждал своего квартиран-

та, подкрепляя свои слабеющие силы новой рюмочкой очищенной. Он так и заснул у отворенного окна, а Кочетов вернулся только утром, когда на соборе ударили к поздней обедне.

Осенью, ровно через год после своего приезда в Пропадинск, Кочетов женился на Прасковье Гавриловне.

VII

Впоследствии Кочетов часто спрашивал самого себя, как он женился и зачем: бессмысленный чувственный порыв, безделье, легкомыслие – и вот результаты всего этого. В довершение всего он утешался тогда пошлой фразой, что «должен так поступить, как честный человек». Разве честные люди могут разыгрывать такие пошлости? У него было одно богатство: полная свобода, – но и это преимущество он оценил только теперь, как больные ценят свое потерянное здоровье.

Молодые жили в бубновском доме, который принадлежал, как оказалось, Прасковье Гавриловне, а не мужу. Этот богатый дом давил теперь Кочетова, как тюрьма, нет, хуже в тысячу раз. Все в этом доме, до малейших пустяков кричало ему, что он здесь чужой и что он занял место другого. Мебель, посуда, ковры и стены были свидетелями чужого счастья, может быть, короткого счастья, но все-таки счастья, а для него все это является свидетелем позора. Прасковья Гавриловна не постеснялась даже отвести ему тот же самый кабинет, где жил и умер Бубнов. Ода даже не понимала, что это может его тяготить, и с удивлением спросила:

– Вам разве не нравится эта комната, Павел Иваныч?

Они были на «вы» с первого дня свадьбы, потому что Кочетов не мог называть жену теми же полуименами, как первый муж или братец Семен Гаврилыч. Да, с первого дня сва-

дъбы дело у них как-то не пошло на лад, и виной была она, а не он. По крайней мере, он был в этом уверен, припоминая ту холодность и сдержанное презрение, с каким она к нему относилась.

– Вы меня не любите, Прасковья Гавриловна, зачем же в таком случае вы выходили за меня замуж?

– Для меня это простой практический расчет, а вот вы-то зачем женились на женщине, которую даже не могли любить?..

Она была, к несчастью, умна и зла. Даже, пожалуй, и не зла, а бывают такие особенные властные характеры, которые требуют покорности всего окружающего, включая сюда и неодушевленные предметы. Не будь она богата, Кочетов, может быть, и помирился бы с этим; но теперь его бесило и унижало: что же, он разве содержанка какая или продавал себя?.. Нет, извините, Прасковья Гавриловна, не на того напали... Чуть не каждый день происходили самые жаркие схватки. Каждый считал себя правым и во всем обвинял другого. Но Прасковья Гавриловна оказывалась настойчивее и выдерживала характер дольше. За нее были и знакомые, и вся прислуга, и даже общественное пропадинское мнение, то есть городские сплетни.

Выходя на улицу, Кочетов чувствовал, что на него указывали пальцами и шептались за его спиной. Он даже получил специальную кличку: «бубновский зять». Нечего сказать, отличная кличка... Конечно, могут сказать про всякого, что

угодно, а важно то, чтобы совесть была спокойна, и Кочетов дал себе честное слово никогда не брать ни одного гроша от Прасковьи Гавриловны и решительно ничем не обязываться перед ней. Если она что делала для себя, он умывал руки.

– Мы к этому непривычны... – говорила она ему на своем горничном жаргоне, если он советовал ей сократить какую-нибудь статью ненужных расходов.

Как это он раньше не замечал, что она говорит совсем как судомойка или горничная и вообще самая дурацкая купчиха, каких только производил белый свет?

Когда Кочетову делалось уж очень тяжело, он отправлялся к своему бывшему хозяину квартиры Якову Григорьичу, который встречал его, как родного. В самом деле, перебирая своих пропадинских знакомых, Кочетов не имел ни одного близкого человека. А у Якова Григорьича было так хорошо всегда: не богато и не бедно, а середина наполовину. Даже та бедная комнатка, которую занимал Кочетов и которой стеснялся перед богатыми знакомыми, теперь так нравилась ему, и он чувствовал себя легче под низки. Ведь не в первый раз отваживаться-то ей с своим сокровищем!.. Кстати, там поговорим с вами и о деле. Больничку новую строим, так нужно смету проверить, потом... да мало ли у нас дела наберется!

От такого приглашения трудно было отказаться, да и Прасковья Гавриловна больше не удерживала. Она внимательно выслушала его советы, ласково пожала руку и не без ловкости сунула конверт с подаянием. Семен Гаврилыч сде-

лал вид, что занят приставшей к сюртуку пушинкой, и усердно скоблил ее ногтем.

VIII

К подъезду бубновского дома каждый день утром с жалобным дребезгом подкатывались старинные дрожки на круглых рессорах. Весь Пропадинск знал этот экипаж, и по нему делалось известным, в каком доме больной, потому что старик Кацман ездил только по больным. Сгорбленный, сухой, он резко звонил и молча взбегал по лестнице во второй этаж, а оттуда торопливо проходил в кабинет.

– Ну, что, collega, как мы сегодня чувствуем себя? – спрашивал старик каждый раз, подходя к кушетке, на которой лежал Кочетов.

– Мне лучше, – обыкновенно отвечал collega и смотрел на Кацмана мутными, воспаленными глазами. – Кашель меньше, боль в боку не такая острая.

– Мы скоро будем молодцом, collega, – говорил Кацман, считая пульс.

Раз, когда доктор отворил дверь в кабинет, он сделал было шаг назад: Кочетов стоял на ногах и смотрел на него с улыбкой. Ноги у него давно отекли, а он ходит.

– Точно на чужих ногах хожу или на подушках, – объяснял Кочетов с необыкновенною бодростью. – Через два дня я буду совсем здоров.

Это была подозрительная бодрость, и старик, усадив больного в кресло, долго качал головой.

– Мне совсем хорошо, – продолжал Кочетов, опуская бес- сильно голову на мягкую и высокую спинку кресла. – Толь- ко, знаете, меня ужасно беспокоит одно.

Оглянувшись на дверь, он шепотом прибавил:

– Мне кажется, collega, что я и Бубнов – одно лицо. Помните Ефима Назарыча Бубнова, который умирал вот в этой же самой комнате? Так вот мне и показалось, что я не Кочетов, а Бубнов. Это ужасная мысль! У меня даже холод- ный пот выступил на лбу, и я почти на четвереньках подполз к зеркалу. И что же?.. Представьте себе: из зеркала смотрел на меня живой Бубнов, то есть я сам... Мне так сделалось страшно, что я закричал, а когда прибежала Прасковья Гав- риловна, я так же притворился спящим, как делал это Буб- нов, и руки так же тряслись у меня...

– Вам нужно успокоиться, collega. Это был, конечно, бред.

– Ах, нет. Я и теперь то же самое чувствую. Опять начи- наю превращаться в Бубнова. Вы замечаете, да?..

Кацман стоял и смотрел, строго сложив свои толстые гу- бы. Collega был безнадежен – начинался паралич мозга. Вид больного был ужасен. Опухшее, серое лицо сквозило уже мертвыми тонами, глаза смотрели расширенными зрачками, разбухшее тело потеряло всякую жизненную энергию.

– Вы, может быть, чего-нибудь хотите? – спросил Кацман, чтобы сказать что-нибудь.

Больной сделал усилие и только показал на заветный шка- пик, как это делал Бубнов. Он даже вытянул губы, чтобы ска-

зять знакомое слово: «рю-умочку!» – но в легких не было силы, и вместо членораздельного звука со свистом вырвалась мертвая струя воздуха. Старик-доктор отворил шкафчик, налил рюмку мадеры и подал больному, который с жадностью сделал один глоток, а остальное выплюнул.

– Какая гадость, – промычал больной и попросил поднять шторы. – Мне все кажется, что темно, доктор. Глаза, видно, ослабели.

– Это бывает, *collega*, а потом пройдет.

– Конечно, пройдет.

Состояние больного, когда начинались галлюцинации, было ужасно. В нем со страшной силой боролись два призрака. Очнувшись с холодным потом на лбу, он опять начал думать, что мучился не он, Кочетов, а тот, второй, который неотступно преследует его день и ночь. Да, ночь... Какое это ужасное слово: ночь!.. Все затихнет кругом, и он входит в комнату. Вот эти тяжелые шаги, под которыми гнутся половицы, хриплое дыхание, скрип кресла, когда он грузно садится на него... У Кочетова захватывало дыхание в груди от ожидания, когда он не будет самим собой, а превратится в Бубнова; это самый мучительный момент, за которым сейчас же следовало облегчение. Иногда они разговаривали между собой, как хорошие старые знакомые, то есть опять-таки это был призрак разговора, потому что мысль не нуждалась в своей звуковой оболочке и вообще в каком-нибудь вещественном знаке.

Так продолжалось недели две, но потом больному вдруг сделалось лучше – он очнулся и посмотрел кругом осмысленным взглядом. Оставалась только легкая усталость, которую испытывает отдыхающий человек. Кочетову казалось, что он сделал какое-то длинное путешествие и только что вернулся домой.

– Позовите мне Якова Григорьича, – попросил он заглядывавшую в двери горничную.

Вот именно этого хорошего старика ему и недоставало. Потом он вспомнил то хорошее, что должно было его окончательно спасти. Ведь и раньше он думал об этом хорошем, но оно как-то ускользнуло из головы. Теперь Кочетов закрывал глаза, напрягая все силы, чтобы не забыть счастливого спасительного слова, которое он может передать только одному Якову Григорьичу. И как все это просто: уехать, нет, убежать... Кочетову даже сделалось весело, и он встретил с улыбкой входившего в кабинет старого приятеля. Яков Григорьич пришел к нему еще в первый раз и так смешно шагал по паркетному полу, точно он шел по льду или по стеклу. Оглянувшись на дверь, старик присел на стул к кушетке и угнетенно вздохнул.

– Яков Григорьич, вы меня совсем забыли, – попрекнул его больной.

– Это точно-с, виноват, Павел Иваныч, собирался, да все, знаете, делишки наши... Ей-богу, собирался!

– Да вы чего боялись-то?.. Я не сержусь, голубчик.

Больной с усилием перевел дух и опять улыбнулся.

– А мне вас так было нужно, – продолжал он, рассматривая отекавшие пальцы. – Да, очень нужно... Помните, как я приехал в Пропадинск? Это была ошибка, а всякая ошибка ведет за собой целый ряд других. Прежде всего, я был дурной, бесхарактерный человек. Понимаете? Это с первого шага заметно. И в первый же день напился тогда. Ведь я не был пьяница, а напился... да. Потом пошло все остальное... и самое гадкое, что я делал, было то, что в своих собственных недостатках я обвинял других. Порядочный, уважающий себя человек не допустит ничего подобного.

– Что вы, Павел Иванович, напраслину на себя взводите... Мало ли с кем что бывает?

– Нет, не то... Помните, что вы мне рассказывали про Прасковью Гавриловну и брата Семена Гаврилыча? Ведь я тогда поверил и потом следил за женой. Подсматривал и подслушивал... Не правда ли, как это гадко?

– Самое пустое дело, Павел Иванович...

– Да. Если бы была правда то, что вы мне рассказали тогда, зачем бы ей выходить снова замуж?

– Это верно-с. Так я тогда сдуру обмолвился, больше по своей простоте дурацкой, Павел Иванович.

– Знаете, мне тогда следовало уехать сейчас же... нет, нужно было бежать. На другой же день по приезде сюда. Запомните, пожалуйста, всего одно это слово: бежать. А у меня в голове иногда путается... Сам виноват, кругом виноват.

– Павел Иванович, одно вам скажу: не вы первые... – умиленно шептал Яков Григорьевич, покачивая головой. – Где же образованному человеку с этакой трущобою совладать?..

– Какой я образованный человек, – застонал Кочетов, тяжело перекатывая голову на подушке. – Просто имел диплом на легкую жизнь. Много нас таких-то!

– Нет, это уж совсем другое-с, Павел Иванович... Трущоба, темнота-с, а тут свежий человек навернется, особенно молодой. Главное, кость в нем еще совсем жидкая, а у нас осатанелый народ, прямо сказать...

Кочетов вдруг замолк. У него закружилась голова от слишком сильного напряжения мысли.

– Не забудьте слово-то, – шептали посиневшие губы.

– «Бежать», Павел Иванович?

* * *

Через несколько дней из бубновского дома тянулась к собору похоронная процессия. «Весь Пропадинск» шлепал за гробом по осенней грязи.

«Эх, Павел Иванович, Павел Иванович, – думал Яков Григорьевич, шагая в хвосте процессии. – Жить бы да жить надо... ох-хо-хо!..»